В. Г. БЕЛИНСКИЙ

Письмо В. П. Боткину

<Фрагмент>

Петербург. 1839, ноябрь 22 дня

Виноват, друг Василий! Ты писал ко мне, спрашивал, беспокоился[1] — одно мое слово — и ты был бы спокоен... Что делать! Я нахожусь в какой-то апатии, в которой, впрочем, есть всё, кроме участия ко всему тому, что не я. Я и чувствую, и мыслю, порою даже и страдаю; но ни до тебя и ни до кого из вас мне дела нет, как будто вы все не существуете и никогда не существовали. Или, видно, настало время расчета с самим собою, или черт знает что — но вот вам факт: понимайте и толкуйте его, как хотите. Бог да благословит вас, а я не виноват[2].

Питер город знатный[3], Нева — река пребольшущая, а петербургские литераторы — прекраснейшие люди после чиновников и господ офицеров. Мне очень, очень весело: о чем ни заговоришь — столько сочувствия. Одним словом: Петербург молодой, молодой человек, но говорит совсем так, как старик[4]. Да ну, к черту — лучше о деле.

Я увиделся с Мишелем на третий день приезда. С первых слов я увидел, что комедий ломать с ним не для чего, потому что он очень поумнел и очеловечился в последнее время и сам заговорил о твоем деле[5] таким языком, каким мы говорили. Правда, тут есть пункт, в котором мы с тобою ближе друг к другу и в котором он едва ли когда сойдется с нами, но этот пункт не относится к вопросу о твоем счастии, и мне кажется, что он не совсем не прав в нем так же, как и мы не совсем не правы, следовательно, обе стороны и правы и не правы. Вообще Питер — славное исправительное место и очень исправил Мишеля. Я думал увидеться с М<ишелем>, как с хорошим знакомым, но расстался с ним, как с другом и братом души моей. Это, Васенька, человек в полном значении этого слова. В нем сущ-

ность свята, но процессы её развития и определений дики и нелепы; но за это винить его — по крайней мере не мне. Но лучше расскажу всё, как было. На другой день М<ишель> был у меня и смертельно надоел и опротивел мне, так что я радовался мысли, что он скоро уедет. Врет, шутит, машет неуклюжими руками — и всё невпопад. Тут был и Панаев[6]. Решились идти к нему наверх[7]; они оба пошли, а я замешкался. Прихожу наверх — М<ишель> бросает мне твое письмо и говорит при П<анаеве> о твоем деле, как будто бы мы были вдвоем — прочтя письмо, он тотчас дал и ему его прочесть, с предисловною фразою: «Б<откин> любит мою сестру». Потом начались выходки против батюшки и матушки, изъявления радости о войне и пр. — ты сам дополнишь. Приятно увидеть чувство в лице и непосредственности человека — и в М<ишеле> точно было чувство; но приятно видеть чувство, которое сдерживается волею и прорывается избытком собственной силы, — вот этого-то и не было. За сим пошла болтовня, шутки некстати, достолюбезности невытанцовывающиеся и т. п. Когда, наконец, М<ишель> ушел — с меня словно камень свалился. Всё тот же, подумал я, а П<анаев> сказал: «Теперь я понимаю, почему Б<акунин>, будучи прекрасным человеком, имеет столько ожесточенных врагов». Я с горя лег спать и проспал часов до одиннадцати утра. М<ишель> приглашал меня обедать к Заикину[8] и вообще обнаруживал большое желание сблизить меня с ним, чем самым и возбудил во мне страшное нежелание этого сближения; к тому же я решился было избегать всяких знакомств и жить схимником. Но делать было нечего — прихожу, пообедали, подпили, начали беседовать — и М<ишель> явился мне с самой *лицевой*, передней стороны. Сколько задушевности, теплоты, благородства, человечестности. Самые манеры его изменились — не было уже нелепых шуток и натяжных достолюбезностей, трубка уже не падала из рук его. Он спорил со мною, но так кротко, с такою любовию и уважением ко мне, хотя меня какой-то бес словно подталкивал наполовину говорить против себя. Одним словом, я провел *московский* вечер и ушел с новым, удивившим самого меня чувством к М<ишелю>. Потом он был у меня — прочел мне свою статью: статья сонная, крепкая, чуждая всякого нахальства, размахиванья длинными руками, простая и целомудренная в своей энергической крепости![9] Пошли потом толки. Я довольно резко (моим слогом) высказал ему свое мнение об участии, которое принимала в твоей истории Татьяна Александровна[10], и даже о самой ней. Он ее во многом обвинил, но во многом и оправдывал, и показал мне резко, но и кротко, что он о ней думает совершенно иначе. Это уже был не тот М<ишель>, который некогда на замеча-

ние, что в письме Т<атьяны> А<лександровны> есть *одна* фраза, отвечал мне с царственно-геройским и наглым видом: моя сестра не может писать фраз; но это был брат, который нежно и глубоко любит и уважает сестру и в то <же> время уважает в других права дружбы и свободы мыслить. Потом, в другой раз, он показал мне, что *героизм* его самому ему теперь смешон и пошл; что он боролся с отцом по праву, но худо делал, что фанфаронил этою борьбою и даже отчасти привил это фанфаронство и к сестрам своим, — и во всем этом он сознавался не как прежде — с хвастовством или равнодушием, но с внутренним страданием. Это меня глубоко тронуло и совершенно помирило с ним. И могло ли быть иначе? Если сознание вины вошло в плоть и кровь человека, возродило его духом — его прощает сам бог, а человеку надо отречься от своей человечестности, чтобы не простить его. Я тем более не мог этого не сделать, что сам не меньше М<ишеля> нуждаюсь в прощении — и его первого, и тех, кто меня хорошо знает, и тех, которые едва знают меня. Однажды, при его брате[11], я высказал ему кое-что о его болтовне и претензии на достолюбезность — после он сказал мне, что сначала ему ужасно было досадно на меня, а потом он согласился, что так... Не знаю, покажешь ли ты ему это письмо, но я желал бы этого, только сделай это кстати, в хорошую минуту М<ишеля>. Надо избегать крайностей: для нас прошла пора требований отчета в поведении и образе мыслей друг у друга, и это хорошо; но не будем же лишать дружбы ее прав. Кто мне скажет правду обо мне, если не друг, а слышать о себе правду от другого — необходимо. Помнишь ли, ты дал мне урок насчет моих народных патриотических острот и милых достолюбезностей насчет Лангера?[12] Ведь мне казалось, что я в самом деле очень любезен, и если бы ты не подставил мне зеркала — я до сих пор находился бы в этой уверенности. Друзья мои — будем бояться крайностей, как зла: оставим каждого жить, как он хочет, не будем читать друг другу поучений, посылать буллы, требовать отчета, но не побоимся же и замечать друг другу то, чего каждый в себе не хочет или не может замечать, только будем это делать с уважением к личности, деликатно, с любовию. Вразуми же, Б<откин>, М<ишел>я, что природа создала его быть теплым и важным и только под этим условием светлым, а когда он не таков — то молчаливым и важным, но никогда достолюбезным в смысле Станкевича[13]. Заставь его почувствовать иногда *важность*, иногда *пользу*, а иногда и *святость* молчания и возмутительность выговаривания того, что понимается само собою и профанируется выговариванием. Во всяком человеке — два рода недостатков — природные и налипные; нападать на первые и бесполезно, и бес-

человечно, и грешно; нападать на наросты — и можно и должно, потому что от них можно и должно освобождаться.

Мы обвиняли М<ишеля> в недостатке задушевности, в неспособности принять участие в личности другого, — и мы были правы, но правы внешним образом. Я больше всех кричал против М<ишеля> в этом отношении за то, что он не принимал участия в моих сердечных похождениях; но ты сам знаешь, до какой степени были достойны они участия, ты сам знаешь, что действительно в них было только мучительное стремление, мучительная жажда любви и сочувствия, а проявления были призрачны и пошлы. М<ишель> сам обвинял себя, что не принял истинного участия в истории Каткова[14], но ты сам знаешь *действительность* этой истории, в которой истинное было опять в источнике, а не в осуществлении. Кто не полезен себе, тот не полезен и другим: над М<ишелем> больше, чем над кем-нибудь, сбылась истина этих слов. В нем так много дикостей, угловатостей и нелепостей, он сам очень хорошо их видит и борется с ними; процессы его духа совершаются так трудно, как процесс деторождения для женщины; сверх того, у него так мало такту и всего того, что дается счастливою непосредственностию и полнотою натуры, он всё должен приобрести борьбою и успехами в мысли, — что ему, право, пока совсем не до других, а только до себя. Я теперь собственным опытом узнал возможность такого состояния. Мне теперь ни до кого нет дела, я никого не люблю, ни в ком не принимаю участия, — потому что для меня настало такое время, когда я увидел ясно, что или мне надо стать тем, чем я должен быть, или отказаться от претензии на всякую жизнь, на всякое счастие. Для меня один выход — ты знаешь какой; для меня нет выхода в Jenseits[15], в мистицизме и во всем том, что составляет выход для полубогатых натур и полупавших душ. Я теперь еще больше понимаю, отчего на святой Руси так много пьяниц и почему у нас *спиваются с кругу* все умные, по общественному мнению, люди; но я не могу и спиться, хотя и каждый день раза по два пью водку и тяну то красное, то рейнвейн. Мне остается одно: или сделаться действительным, или до тех пор, пока жизнь не погаснет в теле, петь вот эту песенку:

Я увял и увял
Навсегда, навсегда,
И блаженства не знал
Никогда, никогда!
Всем постылый, чужой,
Никого не любя,
В мире странствую я,
Как вампир гробовой.

Мне противно смотреть
На блаженство других,
И в мучениях злых
Не сгораючи тлеть[16].

Обращаюсь к Мишелю. Вот причина, почему мы отрицали в нем задушевность и теплоту. И в самом деле, то и другое не всегда присутствует в нем, потому что возня его с самим собою, как и следует, захватывает большую часть его времени. Но когда он бывает ровен с самим собою, — это человек насквозь теплый, насквозь светлый, в высшей степени задушевный, любящий, готовый принять в другом всё участие, какого только можно желать. А что он умеет любить глубоко и горячо, этому лучшее доказательство — я: кто больше меня ругал и оскорблял его, к кому больше меня бывал он несправедливее — и что же? — где бы он ни явился, с кем бы ни познакомился, там и тот уже знает Белинского. Заикин и все прочие сто раз уж говорили мне — как он любит вас! И изо всего видно, что он любит меня, часто вопреки себе, именно за то, за что нападал на меня, что составляет нашу противоположность. Погладь его за это по курчавой голове — право, он очень не глуп, как я начинаю уверяться. А сколько глубины, сколько инстинкта истины, какое сильное движение духа в этом шуте! Я немного побыл с ним в Питере, но много узнал от него нового, много уяснились мне и собственные мои идеи. Это один человек, с которым побыть вместе значит для меня — сделать большой шаг вперед в мысли — дьявольская способность передавать! Да, я вновь познакомился с М<ишелем> и от души, как друга и брата, обнимаю его на новую жизнь и новые отношения.

Ну, да довольно о нем — не всё говорить о пустяках, надо и дела не забывать <...>.

Письмо М. А. Бакунину

СПб. 1840, 26 февраля

Письмо твое, любезный М<ишель>, произвело на меня именно такое действие, которое ты предсказал в письме З<аикин>у. Оно еще на несколько лет отдалило меня от знания (если предположить — хоть для шутки, — что знание когда-нибудь должно быть